

Александр Валентинович Амфитеатров

Морская сказка



Александр Амфитеатров

Морская сказка

«Public Domain»

1899

Амфитеатров А. В.

Морская сказка / А. В. Амфитеатров — «Public Domain», 1899

«Их было пятеро, и все они, как на подбор, были щёголи-матросы. Хозяйка кабачка то и дело меняла на столе пред ними жестяные кружки с кислым монферрато, и они каждый раз аккуратно расплачивались, доставая из штанов горстями тяжело звучащие медные монеты. Выпили они много, но пьяны не были, сидели тихо и вели философскую беседу...»

Александр Амфитеатров

Морская сказка

Их было пятеро, и все они, как на подбор, были щёголи-матросы. Хозяйка кабачка то и дело меняла на столе пред ними жестяные кружки с кислым монферрато, и они каждый раз аккуратно расплачивались, доставая из штанов горстями тяжело звучащие медные монеты. Выпили они много, но пьяны не были, сидели тихо и вели философскую беседу.

– Учёные, – сказал жирный Фриц, задумчиво глядя сквозь табачный дым голубыми выпуклыми глазами, – учёные додумались теперь, что род человеческий произошёл от обезьян. Ну, нет! Хоть учёные и умный народ, и мастера убеждать, но в этом они могут уверять кого угодно, – только не нашего брата... Слава Богу, – за двадцать лет, что я хожу в море, – достаточно перевидал я этой хвостатой твари. И скажу вам, братцы: коли учёные не врут, хитра была та первая обезьяна, которой удалось родить человека!

Он захохотал тяжёлым смехом северного немца.

– Теперь это оставлено, – с важным видом сказал бритый краснолицый брюнет еврейского типа, должно быть, корабельный фельдшер. – Теперь в обезьяну уже не верят, а верят в общего родоначальника.

– То есть?

– Как бы тебе лучше объяснить? Ну, вот... у тебя есть братья?

– Был один. Не знаю, жив ли. Лет пятнадцать не видались, Марком звали.

– Он у тебя кто такой? Какое его звание?

– Известное дело, не принц крови. Крестьянин, виноградником питает себя... у нас вся деревня – виноградарь.

– А отец у вас, двоих, кто был? Тоже крестьянин?

– Разумеется, да ещё, вечная память ему, – какой исправный.

– Так вот видишь ли: отец у вас крестьянин, а из сыновей один, по-отцовски, мужиком остался, а другой – ты, Фриц, значит, – лучшего захотел, пошёл в матросы; стало быть, переменял участь, загнул на другую линию.

– Ну?

– Ну, и с происхождением человека – тот же самый порядок. Был да жил такой общий родоначальник, – зверь не зверь, человек не человек, – от которого пошли две ветви потомков. Одна всё развивалась, умнела, улучшалась и выровнялась в человека, как быть следует. А другая всё дичала, дурела, унижалась и выродилась в обезьяну. Понял?

– Как не понять? – протяжно возразил Фриц. – Как не понять, когда хорошо растолкуют? Выходить, следовательно, что один-то сын был парень себе на уме и в люди выскочил, а другого – дурака – отец, за непочтение, в обезьяны отдал... Ловко соврано.

Он снова захохотал, точно бочку покатыл с горы, и, отсмеявшись в одиночку, продолжал:

– Нет, нет... что до меня касается, я не перестану верить в старика Адама и бабушку Еву... И знаете, братцы, почему? Потому что я сам их видел, – вот этими моими собственными двумя глазами!

Смуглый генуэзец Альфио, при этих словах, бросил подозрительный взгляд на стоявшую пред Фрицем кружку и, оттянув указательным пальцем левой руки веко на левом глазу, остальными пальцами весьма скептически заиграл пред лицом своим: дескать – вот началось – не любо не слушай, врать не мешай!.. Но немец настаивал уверенно и спокойно:

– Да, я был знаком с Адамом и с Евою. Ева-то, положим, когда я имел честь быть ей представленным, уже никого не узнавала от старости и, как недвижимое имущество какое-

нибудь, лежала денно и ночью под шалашом на циновке. Но Адам, хоть и седой, как лунь, держался ещё молодцом, и мы с ним славно выпили перед отходом нашего брига с острова...

– Ага! – проворчал Альфио, опуская руку, – история какого-нибудь Робинзона!

– Вот видишь: догадался! – хладнокровно возразил Фриц, – стало быть, нечего было и рожу строить!..

– Ну, таких-то Адамов не в диво видеть всякому моряку, которому океан не впервинку, – заметил третий матрос – по бледно-жёлтым волосам, датчанин, швед или чухонец. – Без них не стоит ни один остров в южных морях. История обычная: облюбует себе какой-нибудь тюленебой островок в океане, как постоянную станцию, и начинает сперва ходить туда из года в год на промысел, потом станет на островке заживаться, потом зазимовать попробует, потом – глядь, и уезжать уж никуда не хочет. Посёлок строит, семью с материка везёт, коли женатый, либо с туземкой свяжется... Ведь это – вроде болезни, как прилипают люди к таким островкам. Кто в Робинзоны попал один раз, того потом всю жизнь тянет назад, в пустыню.

– Мой Адам, – перебил Фриц, – не из тюленебоев. Он был француз, человек образованный, хорошей фамилии, – хотя настоящего имени своего он нам не пожелал сказать: очень стыдился, что одичал... На острове звали его «муссю Фернанд».

– Как же его угораздило попасть на остров?

– Да обыкновенно – как попадают все Робинзоны: через кораблекрушение. А уж через какое именно, когда и как, – этого я вам объяснить не могу, потому что – начнёт, бывало, старик рассказывать и всё перепутает... совсем лишился памяти. Верно одно: отбыл он – с сестрою своею – молодою девушкою – из Лиссабона... годов этак, примерно сказать, тому назад пятьдесят, потому что не только о войне франко-прусской, но и Наполеоне III никто на острове не имел ни малейшего понятия.

Думали, что во Франции королевство, Орлеаны правят. Ехали они, совсем, должно быть, профершипись, в Бомбей, где муссю Фернанд должен был получить хорошее место при какой-то английской фирме, а сестра его, мамзель Люси, собиралась открыть пансион для девочек. Чуть обогнули Капский мыс, – тогда о Суэцком канале и помину не было, – стало их трепать. Больше ничего не помнит и не может рассказать толком. – Дед! – говорю, – да неужели ты, пока из ума ещё не выжил, не догадался записать своей истории?.. Молчит, трясёт головою, ничего не понимает... Ну, да внучонок его выдал: за фунт карамели и перочинный ножик – хотите, говорит, украду вам дедушкины листки, на которых он свою жизнь написал?.. Валяй!.. И украл. До сих пор берегу их. Только – чёрт бы драл! – без начала и конца... Ohé! padrona! – прервал он речь свою, стуча кружкой, – ещё жестяночку вашей кислятины, да время и – к девицам...

Когда матросы собрались уходить, я задержал жирного Фрица и просил его познакомиться меня с доставшеюся ему рукописью Робинзона.

– А зачем вам? – возразил он, – может быть, ищите какого-нибудь пропавшего родственника?

– О, нет! Просто – я писатель, и меня очень заинтересовал ваш рассказ.

– Ага! писатель! В таком случае – очень рад вам услужить. Хоть вовсе её возьмите у меня себе на память...

Я заикнулся было, что готов заплатить, но немец добродушно перебил меня:

– Ну, вот ещё! какие тут могут быть счёты? На что мне нужны эти бумажонки? Разопьём вместе бутылочку винца, – и квиты.

На завтра мы бутылочку эту распили, и в руки мои перешла пачка жёлтых, истрёпанных, замусленных, местами закопчённых, точно опалённых, местами размытых водою листков, исписанных мелким бисерным почерком старого французского пошиба... Вот что писал на них старый Робинзон.

...на палубу. И небо, и море имели всё тот же плачевный вид взлохмаченной ваты, раздуваемой, под бешеными порывами шквала, вверху белыми клочьями, внизу – грязно-свинцовыми. Капитан молча указал мне только что возвещённый берег. Придавленный густою шапкою туч, он чернел над водою невысокою извилистою полоскою, – словно ядовитая пиявка вилась на горизонте.

– Остров?

– Остров.

– Какой же?

– А чёрт его знает! – был утешительный ответ. – Дайте мне хоть на минутку солнце, и я вам скажу, куда нас принесла нелёгкая... А пока я знаю столько же, сколько и вы. У нас сломан руль, не работает машина, а если мы поставим паруса, то нас перевернёт вверх дном. «Измаил» уже не пароход, но поплавок, и – куда бы его ни затащило, лишь бы к твёрдой земле, – мы должны сказать спасибо!..

Идти «Измаил» полным ходом не мог, но его несло полным ходом к острову, и вскоре – хотя и в глубоком тумане – мы могли уже разглядеть часть береговых очертаний: бледный конический силуэт вулкана, и, у его подножия, между двумя чёрными, скалистыми мысами, вокруг которых яростно кипели буруны, вход в широко разинутую бухту.

Экипаж «Измаила», толпясь вокруг капитана, спорил и держал пари, где мы. Большинство склонялось к мнению, что буря загнала нас обратно – к Азорским островам и Зелёному Мысу. Другие клялись, что мы – если не у св. Елены, то у о. Вознесения, либо Тристан-да-Кунья. Третьи стояли на том, что буря, хоть и жестоко закрутила нас, но – в конце концов – ветер взял попутное направление, и теперь «Измаил» приближается к какому-либо крохотному, безымянному островку-вулкану Индийского океана. Капитан, на все предположения, только пожимал плечами и повторял:

– Всё может быть. Я знаю лишь одно: это – не Тенерифе. А затем – все вулканические острова похожи друг на друга, как две капли воды... и, если не уверен в широте и долготе, так разве чёрт их различить с моря.

Стали стрелять из пушки, – с острова ни ответа, ни привет, ни лоцманской лодки. Несмотря на ветер и дикую качку, все пассажиры, кого ещё не вовсе уложила пластом морская болезнь, повывезли на ют, приветствуя всё яснее определявшуюся чернь острова.

Мы с сестрою Люси стояли рядом, ухватясь за какую-то снасть; рядом с нами – ближе к борту – торчал, в своём песочном пальто, словно бесконечная макарона, мистер Смит; расставив свои длинные ноги циркулем, он преловко балансировал вместе с «Измаилом» и ещё ухитрялся смотреть в подозрную трубу на береговые туманы, откуда – сквозь свист ветра и плеск волны – уже долетал к нам рёв буруна...

И вдруг – палуба под ногами нашими задрожала, выгнулась, как пружина, мы с сестрою расцепились и покатались в разные стороны, а мистер Смит взвился, как ракета, и полетел за борт. Затем «Измаил» перестал плыть и начал медленно вращаться на одном месте, причём страшно хрустел, кряхтел и стонал, – точно все внутренности его сокрушались. Приподнявшись, я увидел, что сестра сидит на палубе и, бессмысленно глядя на пушку, утирает окровавленный нос, – а затем откуда-то вынырнуло предо мною лицо капитана – белое, как мел, с вытаращенными глазами и рыжими усами, в которых каждый волосок встопорчился щетиною. Тому прошло уже сорок лет, но лицо это живо в моей памяти – будто я только вчера его видел; и стоит мне слишком плотно поужинать, чтобы капитан – тут как тут – снился мне всю ночь, и воскресала, вместе с ним, в памяти вся последующая суматоха.

Рассказать её немислимо: она захватила всех нас, как вихрь, и сразу закружила до одурения. Все метались, кричали и никто никого не слушал и ничего не понимал. Капитан бегал в толпе с высоко поднятыми руками, тыкал снизу вверх указательным пальцем в ладонь и орал, перекрикивая ветер:

– Словно иглою!.. как флюгер на шпиле... через два часа – одни щепки!..

Затем я вспоминаю себя уже в шлюпке, куда меня швырнули сверху, точно куль с мукою, как попало. Под ногами у меня лежала в глубоком обмороке сестра Люси, а на коленях очутилась зыбка с близнецами Мэркли. Шлюпка плясала по морю, шатаясь будто пьяная, – а в десятке саженей волны бешено таранили вспененными гребнями неподвижный, брошенный «Измаил». Он сидел на проткнувшем его рифе, скривясь на правый бок – будто смертельно раненый слон или кит на мели. Волны, налетая зубатыми акулами, рвали с него обшивку, и он бессильно содрогался от боли и страшно скрипел, досылая к нам свой предсмертный стон сквозь кружившую нас бурю. Доски падали, будто мясо с костей, – и местами зияли уже проломы в тёмные внутренности, обнажёнными костями торчали балки и стропила...

– Надо же подобрать его! Ведь человек был!

– А куда мы его возьмём? Здесь и живым тесно...

То были первые слова, ясно услышанные и понятые мною после катастрофы.

Речь шла о Смите. Бедняга носился по водам безобразною бурю колодою, став как будто ещё длиннее и у?же, чем был живой. Голову ему расплющило в лепёшку, – и, когда мертвец обращал к нам, кивая по волнам, тёмно-красный кровавый кружок этот, – невозможно было удержаться от дрожи ужаса и отвращения. Никогда не видал я более противного покойника... Я не выдержал и закрыл глаза; меня стошнило.

Течение несло нас прямёхонько к острову, но ветер рвал во все стороны. Мы шли на вёслах, – они трещали и гнулись в руках гребцов; с матросов пот катился градом, и они то и дело менялись на весле.

Берег был много-много в полуверсте, но – что толку? Близок локоть, да не укусишь. Все эти двести саженей кипели молочной пеною бурунов; валы ходили ходуном, и – по морю точно гудела канонада: с такою силою, так неугомонно часто – бух! бух! бух! – бросало оно волны на каменные гряды, отделявшие нас и под водою, и еле торча над водою, от обрыва береговой линии – пустынной; грозной и унылой, как кладбище. Этот таинственный, безмолвный остров с чёрным конусом курящегося вулкана, под белым тучевым небом, низко над ним повисшим, в оторочке серебряных кружев разыгравшегося моря, – походил на погребальный катафалк, готовый всех нас великолепно принять и переселить в страну, где нет ни печали, ни воздыхания.

Бухта не давалась нам, как заколдованная. Мы сделали не менее ста попыток прорваться сквозь буруны. Они швыряли нашу шлюпку, как котёнка, – и она жалобно стонала и пищала, как котёнок. Суда – что люди. Когда им не везёт, они теряются, становятся неловки и бестолковы. Вскоре – шлюпка одурела: она болталась на гребнях волн глупою и беспомощною балаболкою, то взлетая на темя водяной горы, то ухая в тёмную пропасть. Все чувствовали, что не капитан ведёт шлюпку, но шлюпка ведёт капитана. Исполняя свой долг и обманывая отчаяние своё и наше, он боролся с бурунами, как герой, но – герой слепой. Без карты, без инструментов, что мог он разобрать в мутной кипени этой незнакомой бездны? Он лавировал наудачу, стараясь не позволить шлюпке раздробиться о подводные скалы; их гребешки то и дело скрежетали под нами, и матрос, сидевший супротив меня на весле, – седой, морщинистый человек, с запухшим от огромного синяка левым глазом – всякий раз, что раздавался зловещий скрежет, кивал головою, словно одобряя грозящую нам гибель, и глубокомысленно повторял по-итальянски:

– А, сегодня у моря есть зубы! есть зубы!

В воздухе не было холодно, и вода, бурлившая вокруг нас, была, на ощупь рукою, довольно высокой температуры. Но, пробыв несколько часов в облаках солёных брызг, мы тряслись от холода, как Иуда на осине. Нас прохватило до костей сыростью, которую море на нас поливало, а ветер в нас вдувал, будто из ста плотов, слева, справа, спереди, сзади, и с

такую силою, с таким дьявольским напором, что водяная пыль колючими иголками входила в поры и леденила кровь в жилах. Соль покрыла нас корою, разъедающая глаза и ноздри, – соль во рту, соль в ушах, солью пропитана одежда. Безумная пляска по волнам вымотала из нас все внутренности. Я чувствовал, что во мне всё переболталось, как в бутылке, что кишки мои переместились в мозги, а желудок свернулся жгутом и вот-вот сейчас полезет наружу через горло. Мистрисс Мэркли – обезумевшая, почти бесчувственная от морской болезни – уткнулась лицом в мой затылок, и я сам был настолько болен, что не имел ни сил, ни даже догадки отстранить от себя это отвращение. В дополнение несчастья, Смита носило вместе с нами, – труп раза два стукнуло о шлюпку, и женщины визжали не своими голосами, уже не зная, чего бояться больше – бушующей волны или безобразного мертвеца. Моряки суеверны. Матросы вообразили, что это Смит приносит им дурной ветер и не пускает нас к берегу. Они проклинали горемычный труп, грозили телу кулаками, пихали его вёслами и багром, но, покорный волне и ветру, покойник – куда мы, туда и он. А старик-итальянец насупротив меня знай качает головою да твердит нараспев:

– О! о! Англичанин. не хочет идти один в водяную могилу... Вот увидите: он всех нас потянет за собою... всех! всех!

– Замолчишь ли ты, чёрт? – крикнул капитан. – Джой! дай ему по морде!

Кто-то протянул руку между моею и мистрисс Мэркли головами и, торчком, сунул смоляной, мускулистый кулак в зубы матроса. Италиянец странно посмотрел на кулак, словно впервые видел такую штуку или только что очнулся от долгого сна. На тычок он ничего не сказал, плюнул в море кровью и, утихнув, налёг на весло, но всё продолжал бормотать про себя и улыбаться.

Наконец, Смита занесло в подводную колдобину, где он застрял и не выплыл более, освободив нас тем хоть от одного ужаса. Матросы выбились из сил, а у капитана опустились руки. По волнам прыгали длинные, тёмные тела, которые мы, пассажиры, – у страха глаза велики! – приняли было кто за акул, кто за крокодилов, но то были – просто балки и брёвна размётанного «Измаила». Они мчались на буруны, как боевые тараны, и нам пришлось увертываться, чтобы не очутиться на их разрушительном пути. Пали сумерки, а мы – хоть бы на шаг подвинулись вперёд. Вулкан затянуло мглою, берег слился с облаками, море закурилось низовым туманом... Ветер как будто стал, если не тише, то определённое и постоянное и тянул шлюпку в открытое море. Быстро наступавшая темнота приводила нас в отчаяние. Мистрисс Мэркли и сестра Люси кричали, что уж лучше им сразу потонуть и умереть, чем медленно погибать от ужаса и морской болезни, болтаясь в этой скверной посудине; матросы галдели; старый итальянец, уже никем не препятствуемый, громко и злобно вопил:

– Говорю вам: всех нас потянет на дно каналья-англичанин... всех, всех!

– Товарищи, – сказал капитан, – оставаться среди тумана и тёмной ночи в этой каменной ловушке невыносимо. Нас расшибёт, как ореховую скорлупу, первую же волною, которую мы прозев...

Бедняга, вероятно, хотел сказать «прозеваем», но договорить это слово, как всю остальную речь, ему пришлось уже в вечности. Шлюпка вдруг затрещала ужасным образом, близнецы исчезли с моих колен, точно провалились в театральный люк, дно шлюпки и скамья ушли из-под меня, и я очутился глубоко в воде и, как топор, пошёл ко дну. Плавать я тогда не умел, да, если бы и умел, не успел бы спохватиться: так быстро закогтила меня и потянула вниз чёрная бездна.

Говорят, что утонуть – смерть блаженная; что в последний миг сознания утопающий вдруг – в капельке воды – видит мелькающую, как в калейдоскопе, всю свою протёкшую жизнь; другие, захлёбываясь, бредят зелёными лугами, хрустальными дворцами, золотыми рыбками, дамами в зелёных платьях – прекрасными русалочными видениями. Это, должно быть, когда тонешь в пресной воде или умеешь плавать. Я, впадал в смертный обморок,

чувствовал лишь, что вокруг меня – ночь, глухая, холодная, чёрная, без малейшего звука, без искры света; ночь – бездна, куда я падаю, падаю, и – казалось – конца не будет падению.

Потом ночь прошла, и я перестал падать; непроглядный мрак сменился густым туманом, сквозь который, подобно водорослям или артериям тела, ветвились светящиеся полосы – то мутно-зелёного, то кровавого цвета... И, вместе с тем, сям я, всем телом своим, стал тянуться и надуваться в огромный безобразный нарыв, налитой дурными соками, которые душили меня, – я задыхался... метался... надо было или назреть и лопнуть, или умереть... и я сделал страшное усилие, чтобы прорваться... и очнулся.

С меня и из меня лила струями морская вода. В лицо, обжигая кожу, били пламенные солнечные лучи. Благоухание земли наполнило и расширило неизъяснимым наслаждением мои ноздри, треск птиц ошеломил мой слух, ещё неясно зрячими глазами я видел, как сквозь мелкую мушчатую сетку, человеческие тени, мелькавшие надо мною... Меня трясло, качали, растирали, – я понял, что меня возвращают к жизни, и, в страстно мучительной жажде бытия, напряг всю свою волю, чтобы ожить, – и ожил.

Три лица склонились надо мною – одно белое, два чёрных. В белом я узнал сестру мою Люси; чёрные принадлежали негритянке Целии, кормилице близнецов Мэркли, и Томасу, нашему пароходному коку.

– Где мы? – спросил я.

– На острове и в безопасности.

– А экипаж «Измаила»?

Мне не отвечали.

Единственно нас четверых море возвратило суше живыми.

* * *

Я не намереваюсь передавать содержания полуистёртых строк муссю Фернанда, слово за словом. Для тех, кто знаком с историей хоть какого-нибудь Робинзона, в них не нашлось бы ничего нового. Убедившись, что они – единственные люди па острове, жертвы кораблекрушения сперва пришли было в отчаяние, думали, что всё в жизни для них уже кончено и – быть может – даже лучше сразу умереть, покончив с собою самоубийством, чем вековать в заключении на клочке земли, затерянном без вести... в каком океане? – они даже и этого не знали. Они были вдруг вышиблены из всех условий человеческого общества и знания, очутились как бы вне времени и пространства. Обыкновенно, Робинзоны, о которых пишут в книжках с приключениями, бывают замечательно умны, образованны, находчивы – точно их предварительно всю жизнь подготавливали к случайностям, возможным на необитаемом острове, предначертанном им судьбою. Но здесь не было ничего подобного. Муссю Фернанд, – барон Фернанд де Куси, как называет он сам себя в записках своих, предупреждая, однако, что имя это – выдуманное, и что настоящая фамилия его ещё громче, – обнищавый французский барич, вынужденный наняться в приказчики к английскому купцу, – попал в условия Робинзона светским человеком, то есть – полным невеждою во всех житейских отношениях. Он знал множество, чего вовсе не надо было знать на острове: пять европейских языков, геральдику, танцы, фехтование, а перед отъездом с родины к своему бомбейскому хозяину, прилежно и старательно изучил итальянскую бухгалтерию. Но бедный малый не умел ни построить себе шалаша из древесных ветвей и пальмовых листьев, ни поставить сети на птицу и невода на рыбу, ни сварить мяса, ни добыть соли в приправу к пище. Не будь с ними негра и негритянки, к счастью, оказавшихся отличными людьми, Фернанд и Люси погибли бы от голода и бесприютного житья, – их спасло исключительно благодушные и трудолюбие чёрных, покорившихся белым по своей доброй воле, то есть, по сызмала привычной дисциплине и внушению видеть в европейце господина. Молодая жажда

жизни, – самому старшему из четырёх невольных изгнанников, негру Томасу, было 28 лет! – богатая, щедрая природа и дивные климатические условия острова мало-помалу победили отчаяние – и четверо людей кое-как устроили свой быт, – жилища и питание... Как подбирали они выбросы моря после кораблекрушения, как хоронили трупы утонувших матросов и пассажиров, как воспользовались одеждою этих покойников, как негру удалось выловить на месте, где погиб «Измаил», кое-какие припасы и оружие, как сперва приспособили для жилья обширную вулканическую пещеру, потом выстроили себе шалаши, – рассказывать не стоит: повторяю, всё это сотни раз описано во всех историях Робинзонов, притом же гораздо подробнее и эффектнее, чем сумел описать муссю Фернанд. Денно и ночью жгли они костры на высотах острова – в надежде, что дым и пламя привлекут с моря внимание какого-либо корабля, проходящего чрез пустыню этих таинственных вод. Надежда эта, единодушная в начале пребывания на острове, таяла с каждым днём: кораблекрушение приключилось осенью, наступила зима... и ни один парус, ни один столб дыма из паровой трубы не ожидали безнадежно-мёртвого. безбрежно-широкого, на все четыре стороны, горизонта. Люди стали привыкать к мысли, что связаны с островом навсегда. Чёрные покорились своей участи более или менее спокойно, с свойственным расе их фатализмом – белые пережили много нравственных мучений, – бессильного гнева, тоски и отчаяния... Дальше – пусть опять говорит сам муссю Фернанд.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.